

помочь. А может, помочь мне?

Папа вздыхал, щёлкал пальцами, крутил головой. Не решался. И Ангел хлоплопял его по плечу, поощряя.

Мол, давай. Дескать, не бойся.

И Папа проговорил, опустив голову.

- Мама уехала. Далеко. В другую страну. За океан. Чтобы родить тебе сестрёнку или братца.

Я усмехнулся, но что-то горькое подкатило к горлу. Сжало его. Я спросил:

- Она вернётся?

Папа пожал плечами:

- Может быть.

- Может быть? Или вернётся?

- Вернётся! - твёрдо сказал Ангел, но Папа проговорил совершенно неуверенно:

- Но они имеют там дом. А Мама говорила, что хочет начать всё сначала.

Я сполз вниз. Укрылся, как всегда, одеялом. Натянул его до подбородка. Замолчал и закрыл глаза.

Папа и Бабушка ушли. Но недалеко. Шептались в соседней комнате. Бабушка спрашивала:

- Что теперь будет?

Папа, похоже, пожимал плечами.

- Как это принял Мальчик?

- А что ему остаётся? Пос-

тепленно утешится, - ответил Папа.

Но что было со мной? Я плакал. Слёзы катились сами по себе, без всякого моего желания.

В одно какое-то мгновение я подумал: "Зачем мне это сказали?"

Но в другое, соседнее с ним, мгновение я ответил себе сам: "Правильно сделали, что сказали".

Но слёзы-то лились и лились.

И почему-то я подумал про Чока. Его смахнула тряпкой Бабушка. Но она же не знала, что там живёт мой дружок.

Выходит, Мама меня тоже смахнула. Из своей жизни?

Только она же знает про меня. Что я вот тут живу, на этой даче. И что со мной Папа. Он не находит себе места из-за неё. И Бабушка, которая зависит от нас с Папой.

А что значит: "Начать всё сначала"??..

Выйти замуж за другого человека? Родить нового малыша?

А нас с Папой забыть? Выкинуть из воспоминаний?

Выходило так.

И ещё выходило, что лучше всего это сделать в другом месте. Подальше от нас.

ПАПА

Мы остались одни. И Папе пришлось искать другую работу. Где дают больше денег.

Он исчезал с утра, а возвращался по-разному - иногда очень поздно, но иногда и совсем рано. Но всегда измотанный.

Сидел у меня в ногах, гладил их. Смотрел мимо меня. Думал о неизвестном мне.

Грызла его тоска и забота. И я хорошо знал, что за тоска и что за забота.

Мы выходили погулять. Но Папа не был разговорчив. Он снова о чём-то думал и печалился. А мне приходилось его расшевеливать своими вопросами и разговорами.

Когда я видел Луну на небе, ещё совсем дневном и голубом, я попытывался, не хотел ли он полететь на неё? И Папа не мог не улыбнуться. Нет, он не хотел.

Но тут же рассказывал мне про учёного из Англии. Он болел потяжелее, чем я. Он вообще не мог шевельнуть даже пальцем.

Но голова у него очень светлая. Во сто раз светлее, чем у здоровых. И он овладел математикой. Умеет пользоваться компьютером - для него придумали специальное устройство. И он рассчитал новую теорию звёзд. Рассказ полностью подтвердилась. Он - знаменитый астрофизик. Человек, доказавший, что и очень тяжёлый инвалид может достичь небывалых побед.

Это Папа мне помогал. Я-то хотел помочь ему. А выходило - наоборот.

Я ехал впереди него, рядом с ним или даже позади него - и думал о нём с нежностью.

Слёзы иногда навораивались в глазах, и я с трудом сдерживался.

Сколько же ему досталось! За что и почему? И теперь ещё надо раздобыть работу, потому что Мамы нет и помогать некому.

И Папа, ставший нянкой, чтобы быть со мной, поверил, что Мама нас обеспечит. А она подвела.

Я думал о нём, когда он уезжал, всегда с надеждой. Папа он и есть Папа. Он всё одолеет и победит. Папа твердый и настойчивый. Он добьётся своего.

И ещё я желал ему удачи.

Когда он уходил из моей комнаты, даже если он уходил только на кухню или во двор, я крестил дверь вслед ему.

Не знаю, откуда это у меня вдруг взялось. Но была такая привычка.

И вот...

КОНЕЦ ВСЕМУ

Я не знаю, как рассказывать об этом. Я никогда раньше не рассказывал. Не потому, что некому. А потому, что страшно.

Однажды в ворота зазвонили. Не по-нашему. Наши звонили коротко: брень-брень, и всё. Чтобы не побеспокоить лишний раз. А тут зазвонили настойчиво, протяжно.

Я услышал, как хлопнула дверь - Бабушка пошла открывать. И стало тихо. А потом она закричала.

Долго так кричала:

- А-а-а!

И снова настала тишина.

Я крикнул, позвал хоть кого-нибудь. Но кого? Мы жили одни. Снимали дачу, и всё. Больше тут никого не было. Только раз в месяц объявлялись хозяева. На каких-нибудь пять минут.

Тогда я попробовал что-нибудь предпринять. Но что? Коляска стояла в прихожей. От кровати до коляски меня носил Папа. А сам я добраться не мог.

А Бабушка опять закричала:

- А-а-а!

И тогда я свалился с кровати и пополз по полу в трусах и майке, отталкиваясь только руками.

Это было нелегко. Но возможно. Особенно, если по гладкому паркету.

Я полз, я волок себя и не чувствовал ничего. Только руками и животом - холодный пол. А всё остальное ничего не слышало и ничего не понимало.

Человек с половиной туловища.

Я прополз по-пластунски до двери из комнаты. Перебрался через невысокий порожок. И пополз по большой комнате.

Я полз, я волок себя и не чувствовал ничего. Только руками и животом - холодный пол. А всё остальное ничего не слышало и ничего не понимало.

Человек с половиной туловища.

Я прополз по-пластунски до двери из комнаты. Перебрался через невысокий порожок. И пополз по большой комнате.

Я полз, я волок себя и не чувствовал ничего. Только руками и животом - холодный пол. А всё остальное ничего не слышало и ничего не понимало.

Человек с половиной туловища.

Вдруг застучало много грубых шагов.

Я приподнялся на руки. И увидел, как вошли три милиционера. Но я не испугался их.

- Господи! - проговорил один.

- Что делать? - спросил другой.

- Придётся, - ответил третий.

- Лучше не надо, - снова сказал первый.

И склонился надо мной.

- Ты не знаешь, Мальчик, где документы твоего Папы? - спросил он.

- Знаю, - ответил я. - В тумбочке возле его кровати.

- А Бабушки? - спросил он.

- В её комнате.

- У тебя кто-то есть? - опять спросил он.

- Папа и Бабушка, - ответил я.

- А ещё? Мама?

- Нет, - ответил я.

И тут этот чужой человек сказал мне жуткое:

- Твой Папа погиб в автокатастрофе, - сказал третий милиционер. - А Бабушка... Её увезли на "скорой".

- Когда? - спросил я машинально, пропустив первые слова.

- Сейчас, - сказал он.

А я лёг на пол. И умер.

Я хотел бы умереть. И очень хотел бы заплакать. Но ни то, ни другое не получалось.

Я тоже закричал.

Больше я ничего не помню.

Получался длинный сон с короткими перерывами.

В перерывах - я лежу у себя, а сверху ярко горит свет.

Я лежу, а в углу сидит милиционер. Что он тут делает?

Я лежу и вижу лица хозяев. Эти лица недовольны. Хозяева - лысый мужчина и толстая женщина - мотают головами. Они что-то говорят милиционеру и мотают лицами - два человеческих бегемота.

А я снова опрокидываюсь в черноту.

Я хочу, я прошу Богородицу, чтобы мне стало больно. Но мне не больно!

ВО ТЬМЕ

Я оказался во тьме. У нее было имя: ничегонепонимание.

Милиционеры поговорили с хозяевами и ничего не выговорили.

Прошла ночь, половина

дня. Он тоже был для меня ночью.

Опять затопали чужие сапоги. Или, может быть, ботинки, не знаю. Пришли мужчины в белых халатах и стали укладывать меня на носилки. Я молчал, но сопротивлялся.

Они уговаривали меня словами, а руками не уговаривали. Сжали мне мои руки, а ноги мои подчинялись всему, что угодно, и без меня.

Меня увезли.

Я не знаю, куда.

Я оказался в большой комнате, где стоят железные кровати. В ногах, на спинке, висит железная дощечка. К ней прикреплена бумажка. В этой бумажке что-то пишут взрослые в белых халатах. Но не врачи. Кто-то они другие. Да и халаты у них что-то грязноватые. Это не больница.

На других кроватях лежат дети. Такие же, как я, но не такие.

Один мычит и трясёт руками. Другой орёт - но мне он не мешает. Его крик пробивается ко мне, как будто это жужжание комара. К нему, когда он слишком громко пищит, подходит тётя в не очень чистом халате и делает укол. Писк становится еще тоньше.

Два еще, сильно подстриженные, лежат молча, не поворачиваясь. Два раза в день к ним подходят няни и растирают спины ваткой. Но и от меня видно, что на спинах у них синяки. Я хорошо знаю, как они называются.

Пролежни. Это значит, слишком долго лежат. И не двигаются.

Я этого насмотрелся в больницах.

Я, значит, новый. А еще две кровати пустые. Хотя на листках там что-то написано.

Наверное, не успели убирать.

Время от времени ко мне приходят люди в халатах.

Меня расспрашивают о здоровье: как я себя чувствую.

Я говорю в ответ одно и то же:

- Где Папа? Где Бабушка? Мне отвечают:

- Папа умер. Бабушка в больнице.

От этих слов я опять погружаюсь во тьму. Ничего не отвечаю на их вопросы. Потому что я не умею больше говорить.

И я не плачу. Я просто проваливаюсь в темноту.

Падаю за какой-то черный забор, который отделил меня от всего.

Однажды мне сообщили из-за забора:

- Мама не может приехать, потому что вот-вот должна родить.

Я не кивнул, не моргнул. Я не знал, что это значит. Я опять свалился в черноту.

Я не хотел жить. Не хотел ничего видеть. Не мог, понимаете?

Но эти взрослые что-то сделали со мной. В этой своей черноте вдруг вспыхивало что-то. Нет, не солнце, - куда там! Даже не Луна. Маленькая, едва заметная точечка. Напоминание звезды.

И я всплывал на поверхность темноты от слова "Мама".

Кто-то повторял его.

Однажды я понял, что повторяю это слово сам.

"Мама, - думал я, - Мама! Где же ты? Что же ты наделала? Разве можно начать все сначала?"

А может, это не я думал? А какой-то взрослый и разумный человек, который жил во мне? Разве должен был я так о Маме думать?

Я лежал, и меня переворачивали, как тех двоих мальчишек. Протирали спиртом и усаживали на стул. Моя электрическая коляска куда-то делась. Но мне это было неинтересно.

Я сидел на стуле, уставившись в пол. Или в стену. Мне что-то пробовали сказать взрослые, а я им отвечал:

- Где Папа? Где Бабушка?

В один, неизвестно какой день, дверь в палату распахнулась шире. И в нее вошли люди. Белые халаты были не надеты на них. А только наброшены.

И я сразу узнал его. Впереди всех шел Батюшка, которых крестил меня. Доктор, лечащий детей.

Он не увидел меня сразу. Его подвели к другим. А когда он подошёл ко мне, узнал меня не сразу. Вглядывался, вглядывался. Потом наклонился и, как когда-то, прикоснулся тяжёлым крестом к моим ногам. И снова меня пронзил холод.

Только тогда он меня и узнал. Прошептал:

- Господи, прости и помилуй!

Встал, распрямился. Другие взрослые принялись ему что-то шёпотом говорить. Он им кивал.

Потом снова приблизился ко мне и спросил:

- А где иконка?

- Осталась там, - ответил я.

Он кивнул, достал откуда-то из себя, из глубины своего одеяния новую иконку, только поменьше, и повесил её на край тумбочки, на гвоздик. Был там почему-то такой, совсем крохотный забит гвоздик.

Он приблизился ко мне, шепнул, прикрыл глаза:

- Молись Богородице! А я стану просить её за тебя.

Я спросил:

- Я поправлюсь? Скажите!

Это бывает?

Он прикрыл глаза и ничего не ответил.

А потом, откинув одеяло, будто с размаха, он провел быстро своим крестом по ногам моим.

И будто молния меня пронзила.

И ещё раз пронзила. И ещё.

Я уже не во тьме был. А в свете - ярком, слепящем, почти что солнечном - но всё-таки другом.

- Верь и восстанешь, - сказал Батюшка и Доктор.

ДОКТОР

Он стал приходить ко мне. Поворачивал на живот и вкручивал в меня иголки. В руки. В бока. В голову.

Я лежал перед ним почти голышом, но что-то меня согревало.

Он уходил, и я снова оказывался во мраке. А он опять вытаскивал меня оттуда. Но мне казалось, что останавливался у какого-то порога. И я через порог этот переползти не мог.

Однажды он вынес меня на улицу. И усадил в коляску. Она была не электрическая, а простая. Её колеса нужно было крутить самому. Он дал мне перчатки с обремененными пальчиками. Велел крутить колеса. Получалось плохо.

Тогда он покатил меня сам.

Двор интерната был маловат, но чист. Были там и клумбы.

Я удивился, что цветы на них пожухли, и упавшими листьями был покрыт асфальт: уже настала осень.

- Скоро, - сказал Батюшка, - тебе придётся учиться. И ты постарайся. Ты многое умеешь, но теперь надо поучиться другому: перейти это... чёрное поле. Господь одарил тебя испытанием. Это не каждому дано. Значит, он верит в тебя.

Я заплакал. В первый раз за много месяцев:

- Почему же тогда... - пробормотал я. И замолчал.

Батюшка не отвечал. Потом сказал мне:

- Верь и терпи.

Я хотел сказать ему про Чока, но не решился.

В эти дни рядом оказался ещё один мальчик. Он был с таким же, как у меня, диагнозом. Только ходил. С костылями. Одна нога волочилась. На вторую он с трудом опирался.

Но всё время смеялся, молодчик. Я так и прозвал его.

Молодчик был один единственный ходячий в нашей палате. Ковылял от одного к другому. Воду давал, одеяла упавшие поднимал. И всё смеялся.

- Смейся и ты, - сказал мне. - Это хорошее лекарство.

Но я только усмехнулся.

В интернате всё было устроено так, чтобы я мог только усмехаться. Это самое большее.

Остальные мычали, кричали, плакали, тот, который пищал как комарик, почему-то стал мне слышнее.

Я думал, взрослые будут всегда вместе с нами - ведь дети кричат. Но к нам никто не приходил.

То есть, конечно, приходил, но на три минутки в час. Или на пять. Ну, на десять. Все мы были в подгузниках. Их следовало менять. И их меняли утром и вечером.

Приходила мрачная старуха. Она не глядела на нас. На ней был светлый платок и несвежий халат. И она, как мы знали, обихаживала всех детей. Подряд.

Наверное, ей надоели наши несвежие подробности. Поэтому она прибирала нас не как людей, а может быть, как незрелых животных, похожих на людей. Ещё бы! Ведь некоторые из нас не умели даже говорить. Только мычали.

А те, кто говорил, звали старуху Бабой Ягой. Но чтобы она не услышала, что её так обидно зовут, при ней называли только Бабой.

Баба была не то чтобы толстой, но какой-то пухлой. И никогда с нами не говорила - только что-то бормотала себе под нос.

Ещё приходили медсёстры. Они походили на одинаковых птичек. Может потому, что халаты

на них были посвежее. А может потому, что лица у них были одинаковые и они очень часто менялись.

Сёстры влетали и вылетали, выкликали фамилии, наклонились со своими шприцами, вприскивали в нас лекарства и исчезали в двери.

Они влетали и вылетали, а Баба оставалась и приходила два раза, чтобы прибраться. А ещё грузила нас в коляски и вывозила из палаты. Одних к врачам. Других на улицу. И что-то шептала себе под нос.

Однажды мне в голову пришла странная мысль: Баба одна отдывается за всех женщин. За тех, кто отказался от своих детей. За тех, кто по нужде и немощи их сюда отправил. И даже за тех, кто умер, отправив сюда на страдания своих невинных ребятишек.

Может, оттого она всегда мрачная, эта Баба? Неговорливая? Тоскливая и даже цветом чёрная, как людское горе? Но хотя была она неприветлива и черна, руки у неё оказались мягкими и добрыми.

А всё равно, привык ли я к этому? Выбрался ли из тьмы? Нет. Я лежал на железной кровати, скрючившись, сжавшись, закрыв глаза. Не было со мной моих книжек и моих игрушек. И не было Чока. Значит, лучше не влезать из мрака, потому что снова прикатит боль и немислимая память обо всём, что было. И чего вдруг не стало.

Вылезая же из тьмы, разбуженный иногда Молодчиком, я не улыбался, как он учил. Только усмехался.

Да и я ли усмехался-то?..

О ЧЁМ Я ДУМАЛ

Думал ли я о том, что со мной случилось?

Вернее, что случилось с Папой и Бабушкой? Не думать нельзя. Но и думать тоже невозможно.

Я переворачивался с боку на бок в своей черноте, я валялся в ней. Мне не хватало воздуха и света. Их не было вообще.

Я хотел узнать, как так всё получилось - но не мог. Потому что люди, среди которых я оказался, ничего не знали. Они не знали больше, чем я. Не знали страшнее, чем я.

По ночам, когда выключали свет, все ребята сразу умолкали. Только Комарик изредка пищал, да кто-нибудь всхрапывал. Один только я не мог уснуть. А засыпая, кричал, и, значит, просыпаясь.

Я переворачивался с боку на бок в своей черноте, я валялся в ней. Мне не хватало воздуха и света. Их не было вообще.

Я хотел узнать, как так всё получилось - но не мог. Потому что люди,